

Библиотека „СВѢТОЧА“

подъ редакціей С. А. Венгерова.

№№ 56—65.

Серія „Исторія и теорія литературы“ № 4.

810-83

783-4

С. А. Венгеровъ.

IV K 26

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

2-е изданіе, безъ переклѣтъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва „Обществѣнная Печать“, В. Подъячесскаго, 30.

1907.

Учл. 478. 488. 489. 490. 491.

Цена 2 р. 50 к.

N 2949
N 752

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	стр.
Предисловіе къ II-му изданію	V
Предисловіе къ I-му изданію	VII
Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы.	1— 21
Общій очеркъ исторіи новѣйшей русской литературы .	23—103
Писатель-гражданинъ (Н. В. Гоголь)	165—244
Великое сердце (Висаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій).	245—378
Передовой боецъ славнофильства (Константинъ Александровичъ)	379—492



Из фондов Российской национальной библиотеки

слума, прививаются до уровня бродячаго чукчи, убиваютъ себя. Отчаяніе такъ велико, что въ стихахъ того самаго Тана, котораго мы теперь знаемъ, какъ одного изъ самыхъ бодрыхъ писателей современныхъ, мелькала въ эпоху прозябанія въ полярныхъ тундрахъ страшная мысль: да стоитъ ли самая-то свобода того, чтобы столько за нее страдать?

Конечно, эти вспышки отчаянія проходили быстро, лучезарное сіяніе старой жажды подвига снова озарило патуманенную страданіями душу. Но все-таки, какъ ни подходитъ къ „сибирской“ литературѣ, даже въ такихъ сравнительно-мажорныхъ ея проявленіяхъ, какъ Короленко и Якубовичъ, это были только героизмъ „недобитыхъ бойцовъ“, по выраженію Якубовича. И, въ общемъ, психологія людей, оставшихся вѣрными лозунгамъ революціоннаго движенія 70-хъ годовъ, можетъ быть формулирована такъ: „Старая гвардія умираетъ, но не сдается“.

Да, не сдается, но и не думаетъ о побѣдѣ.

А вотъ марксизмъ, тотъ только о побѣдѣ и думалъ и ни единой минуты въ ней не сомнѣвался.

Въ совершенно необычныхъ формахъ сказалось въ марксизмъ это побѣдное чувство, и болѣзненно поражаело оно на первыхъ шагахъ старыхъ народолюбцевъ своими лозунгами, звучавшими такъ чуждо и грубо.

Русскій марксизмъ идетъ рука объ руку съ теоріею экономическаго матеріализма, по которому важнейшимъ факторомъ исторіи являются исключительно экономическія причины, борьба классовъ и интересовъ. Выведенный Марксомъ, частью умозрительно, на основаніи гегелевской тріады, но, главнымъ образомъ, исторически, эмпирическимъ путемъ, т. е. изъ наблюденій надъ жизнью европейскихъ народовъ, законъ трехъ фазисовъ экономическаго развитія (патріархальный, капиталистическій и социалистическій) русскими марксистами признается за естественно-историческій, т. е. за ничто непреодолимое, повторяющееся неизмѣнно во всѣхъ странахъ. Вотъ почему, несмотря на то, что самъ Марксъ еще въ 70-хъ годахъ сдѣлалъ рядъ оговорокъ для Россіи и призналъ общинно-артельный духъ и экономическій строй русскаго крестьянства такими факторами, которые могутъ привести къ тому, что Россія совсѣмъ и не должна будетъ пройти черезъ тяжелый искусъ капиталистическаго фазиса, русскіе марксисты дали ученію Маркса самое распространительное толкованіе. Они энергически доказывали, что Россія непремѣнно должна пройти черезъ горнило капитализма раньше, чѣмъ въ ней установится экономическій строй, соответствующій интересамъ широкихъ массъ. А разъ это такъ, разъ капиталистическіе ужасы неизбежны, то чѣмъ они скорѣ наступятъ, тѣмъ

лучше. Не мешает, следовательно, стать акушерами этого неизбежного исторического процесса, помочь капиталистическому строю поскорѣ родиться, устранить остатки старого патриархальнаго быта, какъ бы они симпатичны сами по себѣ ни были. „Сентиментальное“ народничество пусть увлекается русскою общиною, якобы спасающей народъ отъ обезземеленія, сентиментальные поклонники русской артели пусть усматриваютъ въ ней ослотъ противъ превращенія въ пролетариатъ. „Трепное“ же міросозерцаніе не должно дать себя увлечь этимъ непрочнымъ остаткамъ отживающаго быта и должно содѣйствовать скорѣйшему обезземеленію русскаго крестьянина, скорѣйшему уничтоженію всякой самостоятельности кустарнаго производства и скорѣйшему насажденію въ Россіи въ наиболѣе-широкихъ размѣрахъ фабрично-заводской промышленности. Фабрика несетъ за собою культуру, фабричный неизбежно втягивается въ цивилизацію. Не бѣда, что временно его положеніе при этомъ дѣлается сквернымъ, что онъ изъ якобы „самостоятельнаго“ крестьянина превращается въ бездольнаго пролетарія. Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше,—тѣмъ временно хуже въ настоящемъ, тѣмъ скорѣе наступитъ въ будущемъ новый экономическій строй, основанный на реальной побѣдѣ рабочаго класса. Исторію дѣлаютъ не великодушныя настроенія, а соотношеніе реальныхъ общественныхъ силъ.

Таковы основныя очертанія русскаго марксизма, которыми, благодаря невозможности высказаться прямо и опредѣленно указать свой идеалъ, на первыхъ порахъ создавали массу недоразумѣній. Формула, которой заглаживалась книга вождя русскаго неомарксизма Струве: „Признаемъ нашу культуризмъ и пойдемъ на выучку къ капитализму“, вѣтая сама по себѣ, безъ связи со всѣми скрытыми симпатіями автора вызвала болѣзненное недоумѣніе. Еще болѣе болѣзненно дѣйствовали полемическія выходы противъ Чернышевскаго и вообще стараго демократа. Задорно смѣялся неомарксизмъ надъ „старичками“ субъективнама, думающими, что настроеніе личности можетъ вести къ измѣненію существующаго строя, пренебрежительно отказывался онъ отъ „наслѣдства шестидесятыхъ годовъ“, злобно насмѣхался надъ идеалистами-народниками, отдающими себя служенію деревнѣ. Получалось впечатлѣніе, что реакція неожиданно приобрѣла могущественнаго союзника. Произошелъ даже такой курьезъ: цензура и полиція на первыхъ порахъ покровительственно относились къ теоріи, которая, по насмѣшливому опредѣленію консервативнаго публициста Головина-Орловскаго, сводится къ тому, чтобы сидѣть у моря и ждать погоды. Благодаря этому недоразумѣнію, недавно столь строго-преслѣдуемое ознакомленіе русской публики съ идеями Маркса теперь происходило безпреступственно, и свирѣпая цензура 90-хъ гг. пропу-

скала то, о чемъ раньше и думать нельзя было. Скоро, конечно, это комическое недоразумѣніе разъяснилось, изъ чисто-книжной борьбы марксизма съ народничествомъ вышло грозное социаль-демократическое теченіе, и органы марксизма „Новое Слово“ (1897—98) и „Начало“ (1899) были безжалостно закрыты не за какую-нибудь определенную статью, а на общій духъ. Расчухали, наконецъ, въ чемъ дѣло.

Главными теоретиками русскаго марксизма явились *Георгій Валентиновичъ Плехановъ* (р. 1857), *Петръ Бернгардовичъ Струве* (р. 1870), въ сферѣ патентованной учености молодой доцентъ политической экономіи *Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій* (р. 1865).

Если держаться строго-хронологическихъ рамокъ, то первое яркое выступленіе русскаго марксизма принадлежит Струве, выпустившему въ 1894 г. „Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“. Другой манифестъ русскаго марксизма— „Къ вопросу о развитіи монастическаго взгляда на исторію. Отвѣтъ гг. Михайловскому, Карѣву и К^ю Бельтова (псевдонимъ Плеханова) вышелъ годомъ позже. Но все-таки отцомъ русскаго марксизма слѣдуетъ, конечно, считать Плеханова, который еще въ 1884 г. вмѣстѣ съ Аксельродомъ, Дейчемъ и Вѣрой Засуличъ, основалъ группу „Освобожденія труда“ и этимъ положилъ основаніе организаціи русскаго социаль-демократіи. Но существу между *русскими* социаль-демократизмомъ, первымъ стройнымъ выраженіемъ котораго былъ „Нашъ разногласіи“ Плеханова (1884), и русскимъ „марксизмомъ“ разницы почти нѣтъ. Въ марксизмъ получила только большее развитіе теоріи экономическаго матеріализма.

Въ лицѣ Плеханова русская теоретическая мысль выдвинула одного изъ наиболѣе блестящихъ своихъ представителей. Плехановъ—человѣкъ обширной и разносторонней эрудиціи въ области социаль-политическихъ наукъ и философіи, человѣкъ, въ значительной мѣрѣ вульгарнаго, но все-таки яркаго литературнаго таланта и непреклонной послѣдовательности. То, что составляло столь характерную особенность Чернышевскаго и Михайловскаго— ихъ умѣніе путемъ полемическаго и публицистическаго оживленія пріохотить публику къ отвлеченнымъ и научнымъ вопросамъ, въ еще большей степени присуще Плеханову. Одной изъ характерныхъ сторонъ русскаго социаль-демократическаго теченія слѣдуетъ, вообще, признать, что оно значительно повысило научный уровень революціоннаго мышленія. Прежде революціонное настроеніе исходило преимущественно изъ области возмущеннаго чувства. А социаль-демократія приучила революціонно-настроеннаго интеллигента къ необходимости научно-политическаго обоснованія своего міросозерцанія. И въ этомъ отношеніи заслуги

Плеханова очень значительны. Но этот же рѣзкій переходъ отъ „чувства“ къ „уму“ не могъ не отразиться весьма существенными особенностями социаль-демократической литературной манеры вообще и Плеханова въ частности. Лиризма, который составляетъ основную черту русской публицистики, начиная съ Бѣлинскаго, у Плеханова нѣтъ и слѣда. Къ „чувству“ и прочимъ „сентиментальностямъ“ онъ никогда не апеллируетъ, и это, конечно, вполнѣ послѣдовательно для представителя ученія, которое убѣждено, что міромъ править только реальныя интересы. Не знаетъ онъ и какихъ бы то ни было колебаній и сомнѣній. Истина у него, очевидно, въ карманѣ, и до самаго послѣдняго времени, когда онъ какъ-то отступилъ отъ прямолинейности, Плехановъ былъ олицетвореніемъ самой непреклонной марксистской „ортодоксіи“, не знающей никакихъ уступокъ и компромиссовъ. При доброжелательномъ отношеніи, можно этою глубиною убѣжденности хоть нѣсколько оправдать неслыханную рѣзкость Плехановской полемики, часто связанную, увы, не только съ пренебрежительнымъ отношеніемъ къ доводамъ противника, но и съ подниманіемъ ихъ извращеніемъ.

Если до послѣднихъ 2—3 лѣтъ Плехановъ былъ, пользуясь его же собственною терминологіею, олицетвореніемъ „твердо-каменной“ ортодоксіи, то въ такой же степени Струве, напротивъ того, заслуживаетъ высокое званіе искателя истины. Онъ никогда не могъ успокоиться на лонѣ какой-нибудь одной, широкой или узкой идеи, онъ лихорадочно бросался изъ стороны въ сторону. Но это шатаніе имѣло большую цѣнность, потому что въ основѣ его лежала творческая тревога ума вдумчиваго и сердца чуткаго, а главное—ума и сердца мужественнаго, не боявшагося доходить до выводовъ самыхъ враждебныхъ недавнимъ его симпатіямъ. Отсюда постоянное скитаніе кораблей на собой, отсюда стремительность эволюціи его міровозрѣнія, переходъ отъ матеріализма къ идеализму, отъ революціонности къ умѣренно-либеральной оппозиціи (періодъ изгнанія въ Штутгартѣ, 1903—1906, „Освобожденія“), въ наши дни—столь противорѣчащая общему складу духовнаго существа Струве оппортунистская теорія „реальной политики“. Во все это Струве вноситъ глубочайшую искренность и стремительность, и всегда онъ безстрашно занимаетъ позицію человѣка, навлекающаго на себя самыя ярлыки нападки противниковъ.

Глубокая искренность составляетъ также отличительную черту политико-эконома и философа *Сергія Николаевича* Булгакова (р. 1871), не игравшаго, собственно, большой роли въ исторіи марксизма и надвинувшагося подвѣе въ качествѣ одного изъ главарей неоидеализма. Эта эволюція, въ связи съ увлеченіемъ теократической

философіей Владиміра Соловьева, приняла у Булгакова форму чисто-религіозную.

Аналогичную эволюцію отъ марксизма къ идеализму и даже прямому мистицизму пережили и философы-публицисты *Николай Александровичъ Бердяевъ* (р. 1874), писатель болѣе блестящій, чѣмъ вдумчивый. Бердяевъ переживаетъ фазисы духовнаго перерожденія безъ того страданія, которое вложили въ свои превращенія Струве и Булгаковъ.

Кромѣ Плеханова и Струве, рядъ экономистовъ—Ильинъ (псевдонимъ поддѣиѣ приобрѣшшаго громкую извѣстность подъ другимъ псевдонимомъ—Ленина—лидера социаль-демократизма), Масловъ и мн. др. вели ожесточенную войну съ „народничествомъ“. Если въ сферѣ теоретической социологіи главнымъ объектомъ полемики марксизма былъ субъективизмъ Михайловскаго, то въ области чисто-экономической марксизмъ просто напалъ на оптимизмъ *В. В.*, который, какъ мы уже знаемъ (стр. 92), былъ убѣжденъ, что особенности народнаго уклада спасутъ Россію отъ капитализма.

Было бы, однако, великою ошибкою думать, что суть этого ожесточеннаго ратоборства сводилась къ научно-экономическимъ разногласіямъ. Не въ политической экономіи тутъ было дѣло. Интересъ, съ которымъ въ журналахъ читались статистическія и экономическія статьи, лихорадочныя, горящія лица молодежи, перешедшей завы засѣданій ученыхъ обществъ въ дни докладовъ на экономическія темы, связанныя съ марксизмомъ, раздѣленіе на марксистовъ и народниковъ вплоть до такихъ круговъ, гдѣ едва ли могло быть вполнѣ точное представленіе о научной сторонѣ вопроса, все это показывало, что вопросъ переросъ научныя рамки. Очевидно, было задѣто нѣчто основное, нѣчто очень сокровенное въ общественной психологіи. Дальше, въ статьѣ „Великое Сердце“, въ очеркѣ настроеній эпохи Бѣлинскаго, читатель нашей книги найдетъ характеристику гегельянскихъ увлеченій конца 30-хъ гг. Мы тамъ отмѣчаемъ, что на увлеченія Бѣлинскаго и его друзей гегельянствомъ впервые ярко сказалась та основная черта русскаго усвоенія отвлеченныхъ идей, которая проходитъ красною нитью черезъ всю нашу духовную жизнь послѣднихъ 60—70 лѣтъ. Въ томъ-то и дѣло, что отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ, дѣйствительно, отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ жизни и становились чѣмъ-то очень конкретнымъ. Поколеніе сороковыхъ годовъ къ гегелевскому міро-объясненію отнеслось не съ объективнымъ любопытствомъ любителей теоретическаго мышленія, а внесло въ усвоеніе гегельянства всю страсть людей, ищущихъ духовной опоры и жаждущихъ найти міру вещей. Для нихъ философія стала въ полномъ смыслѣ слова

религіей, не разъ доведившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Чисто-научный интерес ошелелъ при этомъ совершенно на второй планъ. „Мы тогда от философіи искали всего на свете, кромѣ чистаго мышленія“, говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ. И это драгоценное свидѣтельство даетъ ключъ не только для правильной оцѣнки философскихъ увлеченій эпохи Бѣлинскаго, весьма мало имѣющихъ общаго съ запавскою философіею. Ту же мало-научную, исключительнo живенную окраску носятъ всѣ дальнѣйшія движенія русской теоретической мысли, вплоть до нашихъ дней. Послѣ Гегеля—французскіе мыслители 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ—нѣмецкіе матеріалветы, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ гг.—соціологія; затѣмъ марксизмъ, экономическій матеріализмъ, Нитче—все это не болѣе, какъ отправные пункты. Въ каждой сколько-нибудь яркой научной теоріи русская тоска по правдѣ подходитъ съ запросомъ „какъ мнѣ жить“ и влгаетъ въ нихъ столько жгучаго жизненнаго содержанія, что чисто-научное содержаніе отходитъ совершенно на второй планъ.

И суть марксизма всего менѣе въ политической экономіи, а въ томъ, что въ угнетенной психологіи человека Побѣдоносцевскаго лихолѣты произошли тотъ „перевалъ“, о которомъ было сказано въ началѣ главы. Дѣло тутъ въ крупной перемѣнѣ общественной психологіи, въ подъемѣ революціоннаго чувства.

Мы знаемъ, что парило уныніе. Революція, казалось, была сражена надолго, побѣдоносцевщина злобно и нагло торжествовала, общество сбѣжало въ подворотню. Не видно было никакого про-свѣта, все было мрачно, тяжело, и усталое поколѣніе 70-хъ годовъ погрузилось въ безнадѣжное отчаяніе. Началось даже разложеніе среди руководящихъ сферъ движенія, пошло повальное ренегатство, дѣло дошло до дегаенщины и превращенія члена Исполнительнаго Комитета Тихомирова въ апологета самодержанія. Въ смыслѣ активнаго влдіяствія на ходъ русской исторіи роль повольтія 70-хъ годовъ, замученнаго въ каторгѣ и якутскихъ тундрахъ, была сыграна. Для борьбы съ твердынею стараго режима всегда требовалось горячее возбужденіе, и не меланхолическая психологія „недобитыхъ бойцовъ“ могла дать этотъ экстазъ.

Требовался новый подъемъ духа, и его могла дать только молодость, для которой все преодолимо, которая при всѣхъ условіяхъ находитъ въ своей совѣсти категорическіе императивы броситься въ битву съ силами тьмы.

И вотъ въ этой естественной смѣлѣ усталости и нервного подъема и былъ историческій смыслъ марксизма, совершенно независимо отъ новаго пониманія того же самаго Маркса, книга котораго была

евангелиемъ и для поколѣнія 70-хъ годовъ. Но, конечно, народившееся новое поколѣние, которому было противно нять и отчаиваться, въ которомъ кипѣли молодая сила, не отказывалось извлечь пользу изъ уроковъ прошлаго. А урокъ этотъ заключался въ томъ, прежде всего, что твердою самодержавіемъ однимъ героизмомъ взять нельзя. Надо привлечь широкія массы, надо организовать народныя силы, и для этого капитализмъ, создающій фабричную жизнь, не только не помѣха, а, напротивъ того, превосходѣйшая школа. Фабрика создаетъ культурныя привычки и сознательность. Ergo, да здравствуетъ капитализмъ, какъ естественная переходная ступень къ возжеланному будущему, какъ путь привлеченія къ дѣлу освобожденія родины не только отдѣльныхъ героевъ, но и всего обездоленнаго народа.

Но для того, чтобы утѣрять въ такой затихной способъ, и пуща была молодость, перспектива того, что тебѣ еще предстоитъ долго жить. Революція 70-хъ годовъ уже устала работать для будущаго, а выходявшее на арену политической борьбы поколѣние 90-хъ годовъ дѣлало только первые шаги и было полно силъ. И вотъ въ этой рѣшимости предпринять *долгую* осаду, въ этой молодой готовности довести дѣло до конца и заключается историческій смыслъ марксизма, совершенно независимо отъ политико-экономической подкладки ученія.

Повторяемъ, весь марксизмъ сводится къ замѣнѣ поколѣнія, уставшаго отъ неудачъ, поколѣніемъ свѣжимъ, къ *примаму общественной и революціонной бодрости*, а не къ забавной въ устахъ студентовъ и курсистокъ „борьбѣ классовъ“. Поэтому, какъ ни смотрѣть на марксизмъ, совершенно неоспоримо, что онъ имѣлъ огромное и оздоровляющее значеніе, какъ яркій показатель того, что апатія, омыдѣвшая обществомъ подъ вліяніемъ реакціи восьмидесятихъ годовъ и доведшая его до полного индифферентизма, прошла.

На первыхъ порахъ можно было смущаться тѣмъ, что марксизмъ якобы есть апоэозъ силы, что онъ знаменуетъ собою какое-то ослабленіе порывовъ самоотверженія. Но вѣдь проповѣдниками обезвѣленія народа и превращенія его въ фабричныхъ пролетаріевъ явились не фабриканты и промышленники, а такіе же искренніе радѣтели о благѣ народномъ, какъ и тѣ, которыхъ они упрекали въ сентиментализмѣ. И марксизмъ, слѣдовательно, былъ движеніемъ чисто-идейнымъ и идеалистическимъ, самымъ фактомъ своего существованія представлявшій яркое опроверженіе теоріи экономического матеріализма и борьбы классовъ. Такъ же, какъ инимый матеріализмъ шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ по существу своему былъ самымъ мечтательнымъ романтизмомъ, такъ и „экономическій матеріализмъ“ девяностыхъ годовъ есть продол-

женіе общаго идеалистическаго стремленія лучшей части русскаго общества заглядить свою историческую вину передъ народомъ. По остроумному сопоставленію Владиміра Соловьева, русскій матеріализмъ и „лигиализмъ“ говорили: „Человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, следовательно, положимте жизнь нашу за други наши“. Про „экономическій матеріализмъ“ можно сказать въ томъ же родѣ: „Все въ исторіи дѣлается по побужденіямъ экономическимъ, все въ жизни есть борьба интересовъ, следовательно, мы, ничего общаго не имѣющіе съ тѣми интересами, за которые ратуемъ, давайте доставимъ имъ торжество и побѣду“.

Оживленіе, внесенное марксизмомъ, выразилось прежде всего въ народженіи новыхъ журналовъ, всецѣло посвященныхъ отстаиванію новаго міровоззрѣнія. Изъ нихъ „Новому Слову“ (1897—98), во главѣ котораго стояли Струве и Туганъ-Барановскій, удалось просуществовать съ небольшимъ годъ, „Началу“ (та же редакція) всего нѣсколько мѣсяцевъ (1899). Ихъ мѣсто заняла уже въ 1901 г. заданная цензурою „Жизнь“, быстро получившая огромное количество подписчиковъ. Это служило показателемъ того, что зашевелился не только писатель, но и читатель. Фактическимъ редакторомъ журнала былъ публицистъ *Владиміръ Александровичъ Поссе* (р. 1864). Литературный критикъ „Жизни“ *Евгеній Андреевичъ Соловьевъ* (1866—1906; извѣстенъ и подъ псевдонимами *Скриба* и *Андреевичъ*) былъ писатель очень разухабистый, перешагивавшій вплоть до плагиата, порою вульгарный, но, въ общемъ, все таки, бесспорно талантливый не разъ даже прямо блестящій. Марксизмъ далъ опредѣленную нить его писаніямъ, до того довольно хаотичнымъ. Съ увлеченіемъ сталъ онъ анализировать русскую литературу какъ проявленіе борьбы классовъ и сословій и сводилъ все къ смѣли „дворянскаго“ прекраснѣшшаго одоленіемъ „разночинца“ и къ предчувствію грядущей побѣды у представителей лозунга пролетаріата. Въ это прокрустово ложе марксистской схемы Соловьевъ вгонялъ все разнообразіе отдѣльных писательскихъ темпераментовъ и художественныхъ силъ. Но позднѣе, когда эксцессомъ марксизма нѣсколько улеглись, Соловьевъ въ своемъ „Опытѣ философіи русской литературы“ (1905) уже опредѣляетъ „господствующую идею нашей литературы какъ аболиционистскую, освободительную“. Для него теперь „литература — борьба за освобожденіе личности и личнаго начала—прежде всего“. Такимъ образомъ, „борьба классовъ“ какъ будто забыта. Вполнѣ правильно подчеркиваетъ теперь Соловьевъ „подвижничество за народъ“ всей русской интеллигенціи безъ различія „классовъ“.

Органомъ марксизма въ значительной степени былъ и широ-

ко-распространенный „Миръ Божій“, основанный *Александрой Аркадьевной Давыдовой* (†1902) и педагогомъ-критикомъ *Викторомъ Петровичемъ Острогорскимъ* (1840—1902), Главнымъ дѣлителемъ журнала былъ *Ангель Ивановичъ Богдановичъ* (1860—1907), ѣдкія „Критическія замѣтки“ котораго одно время заняли мѣсто въ ряду наиболее читаемыхъ литературныхъ обзорѣй.

Изъ беллетристовъ марксизма раньше другихъ получили извѣстность *Евгеній Николаевичъ Чириковъ* (р. 1864) и *Вересаевъ* (псевдонимъ *Викентія Викентьевича Смидовича*, р. 1867). Поэзіе Чириковъ сосредоточивается на психологическихъ разсказахъ и жанровыхъ драмахъ, но выступилъ онъ съ рѣзкимъ вышучиваніемъ народниковъ, которыхъ объявилъ „инвалидами“. Имъ предлагалось находить „въ отставку“. Народъ уже всего менѣе окруженъ здѣсь ореоломъ; слышится другой призывъ—направить интеллигентные порывы изъ деревни въ городъ, гдѣ зарождается и могуче крѣпнеть сознательность пролетариата. Но не просто разочарованіе въ народѣ, а прямое озлобленіе составляетъ содержание первыхъ разсказовъ и повѣстей Вересаева. Поэзіе Вересаевъ вымалъ страшный шумъ въ печати своими „Записками врача“. Самъ врачъ, онъ съ замѣчательною искусностью выставилъ темныя стороны врачебной дѣятельности, съ ея необходимостью всегда принимать определенное рѣшеніе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда врачъ и по слабости своихъ познаній, и по безпомощности науки, долженъ однако поступать такъ, какъ будто никакихъ колебаній нѣтъ. Съ тою же безпощадною искренностью Вересаевъ въ первыхъ своихъ разсказахъ обрисовалъ трагедію народническо-настроенной интеллигенціи при столкновеніи съ народнымъ невѣжествомъ. Безъ всякихъ иллюзій отнесся онъ къ народной дикости поставилъ ребромъ страшный вопросъ: да стоить ли приносить жертвы для этихъ дикарей? И, на фонѣ извѣстныхъ убійствъ докторовъ въ холеру начала 90-хъ гг., онъ давалъ отвѣтъ отрицательный. Истинное страданіе, съ которымъ давался отвѣтъ, связанный съ отказомъ отъ того, что такъ недавно еще составляло единственный смыслъ жизни,—все это придавало глубокой интересъ произведеніямъ Вересаева и скрашивало слабость чисто-художественныхъ силъ симпатичнаго автора, спавша да рядомъ сбивавшагося на прямую публицистику.

И Чириковъ и Вересаевъ характеризуютъ собою только первую стадію марксизма, именно поскольку онъ боролся съ преклоненіемъ передъ народомъ. Полнымъ же выраженіемъ той бодрости и широты порыва, которыя составляютъ суть марксизма, явился *Александръ Максимовичъ Пшкунъ* (р. 1869), достигшій всемірной извѣстности подъ псевдонимомъ *Максимъ Горькій*.

Колоритная биография этого писателя, поднявшаяся съ самого „дна“ жизни, и напоминает волшебную сказку. История литературы не знает примровъ такого поразительно быстрого и такого головокружительнаго успѣха, какой выпалъ на долю Горькаго. А самое характерное въ этомъ успѣхѣ — стихійность. Вѣтъ, которые обладали Горькаго при первыхъ шагахъ его на литературномъ поприщѣ, распознавали въ немъ лишь „маломольнаго“ талантъ. Никому изъ нихъ и приблизительно не приходило въ голову и самое отдаленное представленіе о томъ, какая судьба ждетъ талантливаго, но „неуравновѣшеннаго“ самородка, которому они бѣдѣ или менѣе снисходительно покровительствовали. И не только покровители Горькаго, но и самъ онъ не имѣлъ и самаго скромнаго представленія о внутренней силѣ своихъ произведеній. Въ автобиографическомъ очеркѣ, составленномъ для литературнаго архива автора настоящей книги, Горькій говорилъ въ самомъ концѣ 1897 г.: „До сей поры еще не написалъ ни одной вещи, которая бы мнѣ удовлетворила, а потому произведеній моихъ не сохраняю“. А уже черезъ полгода, выустивши 2 тома тѣхъ самыхъ „вещей“, которыя и „сохранять“ не стоить, Горькій, подобно Байрону, могъ сказать, что въ одно прекрасное утро онъ проснулся знаменитостью. Вопросъ о томъ, кто создалъ эту ввезанную популярность, представляетъ очень большой интересъ для характеристики эпохи. Въ томъ-то и дѣло, что сказочный успѣхъ Горькаго создала исключительно публика, доставивъ небывалый книгопродавческій успѣхъ его рассказамъ. Критика не больше какъ похваливала, а восторженно аплодировала только читатель.

Успѣхъ Горькаго, конечно, обусловленъ прежде всего тѣмъ, что у него яркое, истинно-художественное дарованіе, которое не рѣшаются отрицать самые злые ненавистники его. Увлекаютъ въ немъ его замѣчательная наблюдательность, замѣчательная колоритность, заражающая читателей свѣжесть воспріятія, необыкновенно высокое развитіе чувства природы, первостепенная мѣткость афоризма. А больше всего увлекала колоритность Горькаго. Жизнь сѣра, и русская въ особенности, но зоркій глазъ Горькаго и жадное стремленіе его скрасить тусклость обиденщины сдѣлала чудеса. Полный романическихъ порываній, Горькій сумѣлъ выйти живописную яркость тамъ, гдѣ до него видѣли одну безцвѣтную грязь, и вывелъ передъ изумленнымъ читателемъ цѣлую галлерею типовъ, мимо которыхъ мы врежде совершенно равнодушно проходили, не подозревая, что здѣсь столько захватывающаго интереса. Какъ ярка и интересна Мазьва—эта свѣсь безсердечной Карменъ съ русской тоской, и кто-бы подумалъ, чтобы можно было найти такую коло-

ритичную фигуру на грязномъ, вонючемъ рыбномъ промыслѣ. Какое хлопотаніе страстей въ превосходномъ разказѣ „На плотахъ“, хотя герои его—самые обыкновенные мужики. Подошедши къ народу не со стороны, не какъ наблюдатель, а какъ человекъ, описывающій свое кровное, да просто самого себя со своими порывами, Горькій открылъ намъ das ewig Menschliche и полноправныхъ людей тамъ, гдѣ мы видѣли нашу расу и въ лучшемъ случаѣ снисходительно соглашались призвать хотя и „братью“, но „младшую“.

Увлекала затѣмъ въ Горькомъ свѣжестъ воспріятія, то, что какъ дурное, такъ и хорошее жизни Горькій чувствуетъ чрезвычайно сильно. Ему „новы все впечатлѣнія бытія“, и это-то сообщаетъ силу его лиризму и даетъ ему душевный подъемъ. Особенно и неуклонно воодушевляеть Горькаго природа. Почти въ каждомъ изъ удачныхъ разказовъ Горькаго есть прекрасныя и своеобразныя описанія природы. Это необычный пейзажъ, связанный съ чисто-эстетическою эмоціею. Какъ только Горькій прикасается къ природѣ, онъ точно кѣпится, исчезаетъ озлобленіе, онъ весь поддается очарованію какого-то великаго цѣлага, которое ему всего меньше кажется безстрастнымъ и равнодушно-холоднымъ. Въ какой бы подвалъ судьба ни забросила героевъ Горькаго, они всегда подсмотрятъ „кусочекъ голубого неба“. Чувство красоты природы захватываетъ Горькаго и его героевъ тѣмъ сильнѣе, что эта красота—самое свѣтлое изъ доступныхъ босику наслажденій. Стремленіе Коновалова къ бродячеству имѣеть основаніе желаніе видѣть новое и „красоты всякой“. Вотъ почему любовь къ природѣ у Горькаго совершенно лишена сентиментальности, которая всегда есть результатъ извѣстной искусственности. Онъ рисуетъ всегда мажорно, природа его подбодряетъ и даетъ смыслъ жизни. Какъ это ни удивительно для „босика“, но сплошь да рядомъ Горькій *черезъ красоту приходитъ къ правдѣ*.

Видно естественно, что въ пору почти бессознательнаго творчества Горькаго и въ самыхъ раннихъ вещахъ его — „Макаръ Чудра“, „Старуха Изергиль“ и др. жажда „красоты всякой“ привела къ тому, что тотъ же Горькій, котораго литературные аристократы обвиняютъ въ оскверненіи литературы грязными картинками „дна“ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ подвергается и упрекамъ въ томъ, что онъ воскресилъ вычурность Марлинскаго. Упрекъ формально вѣренъ, но неправильно осѣщенъ. Дѣло въ томъ, что искренній душевный порывъ къ красотѣ, который Горькій вложилъ въ эту, съ общей точки зрѣнія, литературную фольгу, отнимають у „марлинизма“ его главный недостатокъ всякой вычурности — ея искусственность. А уже прямо силу Горькаго составляетъ

то, что тоже не раз ставилось ему въ упрек—общий вылет своеобразнаго романтизма и кипѣнія страстей, свойственный всѣмъ его наиболѣе озлобленнымъ героямъ и типамъ. Конечно, Горькій—романтикъ, но это не слабость его, а сила: тутъ-то мы и подходимъ къ главной причинѣ, почему онъ такъ бурно завоевалъ симпатіи изнываго отъ гнета сѣрой обыденщины русскаго читателя.

Заражала его гордая и бодрая въбра въ силу и значеніе личности, отразившая въ себѣ одинъ изъ знаменательнѣйшихъ переноротовъ русской общественной психологіи. Горькій, съ одной стороны,—органический продуктъ и художественное воплощеніе того индивидуалистическаго направленія, которое приняла европейская мысль послѣднихъ 20—25 лѣтъ. Ничего не значить, что герои его разсказовъ „босики“ и всяческіе отбросы общества. У Пушкина, въ началѣ его дѣятельности, мѣсто дѣйствія—разбойничьи вертепы и цыганскіе таборы. И, однако, это было полнымъ выраженіемъ байронизма, т. е. умственнаго и душевнаго теченія, вышедшаго изъ нѣдра самыхъ культурныхъ слоевъ самой культурной изъ европейскихъ націй. Нѣтъ поэтому ничего необычнаго и въ томъ, что устами босиковъ Горькаго говорить самая новая полоса европейской и русской культуры. Философія этихъ босиковъ—своеобразнѣйшая амальгама жесткаго нитчеанскаго поклоненія силѣ съ тѣмъ безграничнымъ, всепроникающимъ альтруизмомъ и самопожертвованіемъ, которыя составляютъ основу русскаго демократизма. Изъ нитчеанства тутъ ваята только твердость воли, изъ русскаго народолюбія—вся сила стремленія къ идеалу. Въ результатѣ получилось свѣжее, бодрое настроеніе, манищее къ тому, чтобы отстоять свое и не дать алу міра поглотить себя, сбросить ту аницію, которою характеризуется унылая полоса 80-хъ годовъ. Горькій пришелъ въ литературу, когда нѣтъ и половинчатость, нашедшія свое художественное воплощеніе въ „сумеречныхъ“, надорванныхъ герояхъ Чехова уступили мѣсто совсѣмъ иному настроенію, когда страстная потребность жить полною жизнью снова воскресла, а вмѣстѣ съ тѣмъ воскресла и готовность отстоять свои идеалы. Ein rechte Wort zur rechten Stunde—подходящее слово въ подходящій моментъ, да еще слово колоритное, яркое, художественно-захватывающее—какъ такому счастливому соединенію всѣхъ благопріятныхъ элементовъ литературной удачи не имѣть успѣха самаго ослапительнаго.

Приливъ общественной бодрости и страстный порывъ къ полнотѣ жизни, которыя знаменуются вторая половина 90-хъ годовъ, получили свое опредѣленное выраженіе въ марксизмѣ и, поскольку это доступно художественному творчеству, Горькій—пророкъ его. Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ сказать, что онъ одинъ изъ создателей его,

потому что основные типы Горькаго создались тогда, когда теоретики русскаго марксизма только что формулировали его основныя положенія. Кардинальная черта марксизма—отказъ отъ народническаго благоговѣнія предъ крестьянствомъ, красною нитью проходить чрезъ всѣ первые рассказы Горькаго. Ему—пѣвцу безграничной свободы, противна мелко-буржуазная привязанность къ землѣ, и устами наиболее яркихъ героевъ своихъ—Пилли, Челкаша, Сережки изъ „Мальвы“—онъ не стѣсняется даже говорить о мужикѣ съ прямымъ превебреженіемъ. Одинъ изъ наиболее удачныхъ рассказовъ Горькаго „Челкашъ“ прямо построенъ на томъ, что романтичный контрабандистъ Челкашъ—весь порывъ и размахъ широкой натуры, а добродѣтельный крестьянинъ—мелкая натуринка, вся трусливая добродѣтель котораго исчезаетъ при первой возможности покинуться. Но еще тѣснѣе связываетъ Горькаго съ марксизмомъ отсутствіе той несомѣнно-барской сентиментальности, изъ котораго исходило прежнее народолюбіе. Если прежній демократизмъ русской литературы былъ порывомъ великодушнаго отказа отъ правъ и привилегій, то въ произведеніяхъ Горькаго передъ нами яркая „борьба классовъ“. Пѣвецъ грядущаго торжества пролетаріата нимало не желаетъ апеллировать къ старонародническому чувству состраданія къ униженнымъ и оскорбленнымъ. Передъ нами настроеніе, которое само собирается добыть себѣ все, что ему нужно, а не выкалывать подачку. Теперешній порицокъ Горьковскій босякъ, какъ социальный типъ, сознательно ненавидитъ всюю душою. Тоскующій въ условіяхъ сѣрой обмѣнщины пролетарій Орловъ („Супруги Орловы“) мечтаетъ о томъ, какъ „раздробить бы всю землю въ пылъ или собрать шайку товарищей или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: ахъ вы, гады! Зачѣмъ живете? Какъ живете? Жутье вы лицемерное и больше ничего“. Въ другомъ мѣстѣ онъ собирается всѣхъ „передушить“ и, конечно, смѣшно было бы усмотрѣть тутъ определенную угрозу, но ненависть къ существующему строю, конечно, сказались во всей силѣ. Выдвинутый некогда Бакунинымъ лозунгъ „Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust“—страсть къ разрушенію—страсть жидущая—весомѣнно, ярко проходить чрезъ настроеніе всего творчества Горькаго. Идеаль его—„буревѣстникъ“ изъ нависанной ритмической прозы „Пѣсни о буревѣстникѣ“. Умыслы и робкія „чайки стонутъ передъ бурей“; не то буревѣстникъ, въ крикѣ котораго страстная „жжда буря“. „Силу гнѣва, пламя страсти и утѣренность победы слышать тучи въ этомъ крикѣ“. Буревѣстникъ „рѣшетъ смѣло и свободно надъ сѣдымъ отъ пѣны моремъ“, всѣ его вождѣнія сводятся къ одному—„пусть сильнѣе грянетъ буря“.

Одна ли „борьба классовъ“ одушевляетъ, однако, Горькаго, какъ и весь марксизмъ вообще?

Вотъ превосходная, коронная пьеса Горькаго „На днѣ“, тѣсно связанная съ его же типами „бывшихъ людей“. Предъ нами опять ночлежка, опять мнимые босыяки, ярко и образно философствующіе о смыслѣ жизни. Предъ нами опять лишь внѣшнее несоотвѣтствіе, которое не помѣшало, однако, разбойникамъ Шиллера, пиратамъ Байрона, цыганамъ Пушкина, черкешенкамъ Лермонтова отразить настроеніе цѣлаго всемірно-историческаго теченія. Съ одной стороны, герои пьесы—люди, которыхъ никакъ не причислишь къ сентиментальной породѣ „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Они нисколько не жаждутъ состразанія, они—принципіальные враги существующаго порядка, работу презираютъ, въ благотворность ея не вѣрятъ. Но, помимо ихъ воли, все существо ихъ проникнуто тоскою по чему-то положительному, хотя бы въ формѣ какого-нибудь красиваго призрака. Центральною фигурою является своеобразный праведникъ, странникъ Лука, создающій цѣлую стройную теорію возвышающаго обмана. Въ лицѣ Луки индивидуализмъ доведенъ до крайнихъ предѣловъ. Все существуетъ постольку, поскольку я тутъ причастенъ. Есть ли Богъ? „Если вѣришь—есть; не вѣрашь,—нѣтъ... Во что вѣришь, то и есть“. Нужна ли истина даже въ смыслѣ простой достовѣрности? Если она разрушаетъ пріятную мнѣ иллюзію—будь она проклята. Сосредоточеніе всего міра въ сознаніи личности получаетъ свое центральное выраженіе въ ставшемъ знаменитымъ изреченіи мнимаго циника Сатина: „Человѣкъ—это звучитъ гордо!“ И яркое сознаніе личности, конечно, составляетъ тотъ *Leitmotiv*, который проходитъ черезъ всю литературную дѣятельность Горькаго. Но столь же важно для характеристики Горькаго и то, что сознаніе личности тѣснѣйшимъ образомъ связано въ немъ со стремленіемъ къ идеалу. Устами актера изъ „На днѣ“ онъ съ увлеченіемъ повторяетъ стихи: „Честь безумцу, который навѣтъ человѣчеству сонъ золотой“. И въ общемъ, всю совокупность своей общественно-политической и литературной дѣятельности Горькій входитъ въ историю литературы какъ человѣкъ, пропѣвшій могучую пѣснь „безумству храбрыхъ“.

